



ЕКАТЕРИНА
МОРДВИНЦЕВА

ЧЕШУЯ
НА СЕРДЦЕ

РОМАНТИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ

Екатерина Мордвинцева

Чешуя на сердце

<https://litres.ru/74211472>

Аннотация

Она — его единственный страх. Она — его единственное спасение. Граф Дамиан Вуд не выходит из замка уже десять лет. Говорят, он чудовище. Говорят, по ночам из леса доносится рык. Лина, простая травница, не верит слухам. Пока не видит его глаза — то человеческие, то хищные. Пока не чувствует жар, идущий от его рук. Пока не понимает: он — дракон. И она — его проклятие. И его единственная надежда.

Содержание

Пролог	4
Глава 1	21
Глава 2	39
Глава 3	58
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Пролог

Лина никогда не боялась леса по ночам.

Странно, да? Все в деревне Угольный Ключ говорили, что девчонке давно пора научиться бояться. Что в её возрасте — а ей только-только исполнилось десять, и она уже считала себя почти взрослой — положено вздрагивать от каждого треска ветки, креститься на чёрные стволы и слушаться мать, когда та велит сидеть в избе после заката.

Но Лина не слушалась.

Не потому, что была непослушной. Просто лес по ночам казался ей честнее, чем деревня днём. Днём соседки улыбались матери в лицо, а за спиной шептались про «вдовью долю» и «девку без отца». Днём староста делал вид, что заботится о бедных, а сам отмерял самые гнилые дрова для их дома. Днём все врал.

Ночью лес не врал. Он молчал. Иногда — угрожающе. Иногда — равнодушно. Но никогда — лживо.

И сейчас, в конце августа, когда воздух уже пах первым, ещё робким, дыханием осени, Лина сидела на нижней ветке старого дуба на опушке и смотрела в небо.

Небо сегодня было особенным.

Оно не походило на проткнутый углями бархат, как обычно. Оно было чистым, невыносимо чистым — таким, что звёзды казались не точками, а маленькими трещинами в

твёрдой тьме, сквозь которые проливался настоящий, неземной свет. Лина любила такие ночи. Мать говорила — к морозу. Лина думала — к чуду.

Она ошибалась.

Чудо пришло не с тихим шёпотом звёзд.

Чудо рухнуло с рёвом, от которого у старого дуба лопнула кора на стволе.

Сначала — свет.

Лина никогда не видела такого света, даже на ярмарке в Городе, где кузнецы пускали фейерверки из медных опилок. Этот свет был живым. Он был белым в своей середине, но по краям перетекал в золото, потом в киноварь, потом в такой густой, почти чёрный багрянец, что у Лины защипало в глазах.

А потом — звук.

Не гром. Гром — это буханье, это тяжёлое ворчание туч, от которого закладывает уши. Это было нечто другое. Это был крик. Долгий, высокий, такой пронзительный, что Лина зажала уши ладонями, но всё равно слышала — не ушами, а каждой косточкой, каждым зубом, каждой каплей крови в жилах.

Предсмертный крик.

Вот как это звучало. Как будто в небе кто-то огромный и древний умирал, не желая уступить.

И затем — тишина.

Такая резкая, такая полная, что Лина не сразу поняла —

она упала с ветки. Боль в локте пришла позже, когда она уже стояла на четвереньках, глядя в ту сторону, куда упал... предмет? Звезда? Осколок?

Она не знала, как это назвать.

Значит, «оно».

Оно упало где-то в глубине леса. Лина видела столб дыма, поднимающийся над верхушками сосен, и слабое, уже угасающее свечение. Где-то в трёх переходах, на краю Волчьего Оврага. Место, куда даже дровосеки не ходили по ночам.

Лина побежала.

Сейчас, спустя много лет, она не могла бы объяснить, зачем побежала. Не любопытство. Не глупость. Не детское «а что там?». Было что-то другое. Зов, которого не было в словах. Как будто в том свете, в том умирающем крике была нитка, и эта нитка на миг привязалась к её рёбрам изнутри и потянула.

Вперёд. Туда. Не думай.

И она не думала.

Она бежала босиком по мху, по острым корням, по прошлогодним шишкам, которые впивались в пятки. Её единственное хорошее платье — ситцевое, с мелкими васильками, подаренное к прошлому дню рождения — сразу порвалось о сучок, но Лина даже не остановилась. Коса расплелась, чёрные волосы хлестали по лицу, ветки царапали щёки.

Где-то за спиной залаяла деревенская собака. Кто-то зажёл фонарь — крошечное жёлтое пятно на краю поля.

Лина не оглядывалась.

Лес кончался. Вернее, привычный лес — чистый, с редким подлеском, где можно было гулять даже в сумерках — остался позади. Теперь начались старые дебри. Те самые, о которых мать говорила: «Если пойдёшь туда, я умру от горя, потому что тебя сожрут волки или заберут лесные».

Волков Лина боялась.

Но сегодня — не больше, чем собственного дыхания, которое вдруг стало таким громким, таким тяжёлым, как будто она несла на плечах не своё детское тело, а весь этот лес с его корнями и мхами.

И она почти добралась.

Вот он — Волчий Овраг. В темноте его не было видно, но Лина знала: здесь земля уходит вниз крутым уступом, а на дне течёт ручей с чёрной, холодной водой. Местные говорили, что в том ручье утопилась ведьма лет сто назад, и теперь вода помнит обиду.

Но сегодня вода не имела значения.

Потому что всё дно оврага светилось.

Лина остановилась на краю.

Свечение шло не от воды. Оно шло от воронки.

Огромной, в три человеческих роста шириной и глубиной — не разглядишь, потому что края обвалились и дым всё ещё стелился по днищу, как живой туман. Земля во-круг оплавилась, превратилась в чёрное стекло, в котором отражались звёзды. Деревья, стоявшие слишком близко, бы-

ли сломаны, как спички. Одно горело — не огнём, а тем же странным, холодным, серебристым пламенем.

Запах.

Лина втянула носом воздух и не смогла определить запах. Это не было гарью. Это не было озоном, как после грозы. Это было чем-то древним, забытым — горьким и сладким одновременно, как лепестки вороньего цвета, которые бабка Злата вешала на чердаке «от лихоманки».

И под этим запахом — металл. Очень много металла. Свежего, острого, живого.

— Эй, — позвала Лина тихо. Голос прозвучал тонко и глупо в этой мёртвой тишине. — Тут кто?

Никто не ответил.

Но она почувствовала.

Там, на дне воронки, кто-то был. Не «что-то» — «кто-то». Живой. Дышащий. Раненный.

Лина не стала думать. Если бы она начала думать — о том, что у неё нет верёвки, что она в одной рубашке под порванным платьем, что мать убьёт её, если узнает, что она вообще ушла из дома в ночь — она бы не спустилась.

Она спустилась.

Босиком по оплавленной земле, которая всё ещё была горячей — не обжигала, но грела ступни через кожу, как печка в бане. По осыпающимся камням, которые выскальзывали из-под ног и падали вниз с сухим стуком. По краю — туда, где дым рассеивался, открывая...

Она увидела его не сразу.

Сначала она увидела следы. Борозды в земле — длинные, глубокие, будто что-то огромное пропахало днище оврага, пытаясь затормозить. Потом — куски металла, странного, не похожего ни на железо, ни на медь, ни на серебро. Они блестили, как чешуя рыбы, вытащенной из самой глубокой заводи. Некоторые были размером с ладонь, другие — с её головой.

И потом — тело.

Маленькое. Человеческое. Мальчик.

Он лежал на боку, скрючившись, поджав колени к груди — как зародыш в утробе, только этот зародыш был весь в чёрном. Одежда — не одежда, а какая-то тёмная, струящаяся ткань, похожая на дым, который решил принять форму плаща. Ткань была разорвана, и сквозь прорехи Лина видела кожу.

Не такую, как у неё.

Бледную. Не просто белую — белую до синевы, как у тех, кто долго лежит под снегом. Но сквозь эту бледность проступали тени. Где-то в районе ключиц — золотая, под кожей, как будто там светилась жила. На рёбрах — тёмная, фиолетовая, похожая на синяк, но если приглядеться — на чешую.

На чешую.

Лина замерла на миг.

А потом он поднял голову.

Она никогда не видела таких глаз.

Они были серебряными, но не как старое бабушкино кольцо и не как ложка, которой мать мешает щи. Нет. Как настоящая луна в полнолетье, когда она висит над самой крышей, огромная, тихая, равнодушная. Но в этих глазах не было равнодушия. В них была такая боль, что у Лины перехватило дыхание.

Боль и ещё кое-что.

Страх. Мальчик — а ему было, наверное, столько же, сколько ей, лет десять или чуть больше — боялся.

Её.

Он боялся простую девчонку в порванном платье с васьками.

— Не подходи, — сказал он. Голос был тихим, хриплым, как у кота, который надышался дымом. Но в этом голосе было что-то такое, от чего у Лины зачесались ладони. Власть. Не человеческая. Древняя. — Умрёшь.

— Почему? — спросила Лина и шагнула вперёд.

Мальчик попытался отползти, но его левая нога лежала странно — слишком расслабленно, как чужая, и он не мог на неё опереться. Из-под разорванной ткани сочилось...

Не кровь.

Жидкость. Тягучая, золотистая, похожая на мёд, если мёд мог бы светиться изнутри слабым, больным светом. И из этой жидкости, падая на землю, вылетали искры. Маленькие, шипящие, которые прожигали в оплавленной земле крошечные чёрные дырочки.

— Потому что, — мальчик усмехнулся, и в этой усмешке не было насмешки — только усталость, такая глубокая, что она подходила не ребёнку, а столетнему старцу, — потому что я чудовище, девочка. И чудовища не заслуживают жалости.

Лина села на корточки.

Она не знала, что её держит. Не смелость — смелость бывает громкой, она звенит в ушах и стучит в висках. Здесь было тихо. Спокойно. Как тогда, когда мать в жар опускает ей на лоб мокрую тряпицу.

— Ты не чудовище, — сказала она просто. — Ты мальчик, который упал с неба. И у тебя идёт... что это вообще?

— Ихор. — Он говорил, как будто каждое слово стоило ему удара в грудь. — Кровь моего народа. Она жжёт. Она всегда жжёт. Если ты дотронешься до неё, твоя рука сгорит до кости за минуту.

Лина посмотрела на золотистые капли, которые всё ещё сочились из раны на его боку. Посмотрела на свою руку. Потом снова на него.

— А если не дотрагиваться?

Мальчик непонимающе моргнул. Ресницы у него были тёмными, почти чёрными — странный контраст с серебряными глазами и белой-белой кожей.

— Что?

— Если не дотрагиваться до ихора, то можно перевязать рану сверху. Я умею. Мать показала. Она говорит, я рождена

быть травницей, потому что у меня лёгкая рука. Ни одного нарыва не было после моих повязок.

Он смотрел на неё так, словно она предложила ему станцевать на крыше.

— Ты не понимаешь, — выдохнул он. — Я Дракон. Настоящий. Я сжёг три деревни, когда мне было семь лет. Я убивал. Я буду убивать снова. Моя природа — огонь и смерть. А ты... ты просто ребёнок. Иди домой. Пожалуйста.

«Пожалуйста» сломалось в конце. Настоящее, человеческое, отчаянное «пожалуйста», которое говорят только те, кто уже не надеется.

Лина сорвала ленту.

Это была обычная лента. Мать привезла её с ярмарки за три года до того, когда у них ещё был отец и когда деньги водились в доме. Лента была шёлковой, выцветшей от времени, некогда алой, а теперь — розовой, как утренняя заря. С одного края она уже начала распускаться, и Лина всё собиралась её подшить, но всё забывала.

Сейчас она оторвала этот распутившийся край, получилась длинная, тонкая полоска. Хватило бы перевязать запястье. Для раны на боку мальчика — слишком мало.

Но другой не было.

— Не двигайся, — сказала Лина тем голосом, который сама от себя не ожидала. Спокойным. Взрослым. Таким, каким мать разговаривала с больными, когда те метались в горячке. — Я не сделаю больно.

— Ты не можешь... — начал он.

— Я сказала: не двигайся.

Она не дотрагивалась до ихора. Она аккуратно, очень аккуратно, приподняла край разорванной ткани и увидела рану.

И чуть не закричала.

В ране не было плоти и крови. Там была пустота. Буквально — кусок его бока отсутствовал, и в этой дыре Лина видела... небо. Звёзды. Облака, которые медленно плыли где-то далеко-далеко, как будто тело мальчика было окном в другой мир. Но края раны светились золотом, и оттуда, из звёздной пустоты, сочился всё тот же ихор.

Она не поняла, что увидела. Её детский мозг отказывался принимать эту картину. Поэтому Лина просто закрыла глаза, нащупала край раны — сухой и горячий, как кожура только что испечённого хлеба — и начала бинтовать.

Лента легла на рану.

Ихор не прожёл её.

Лента впитала золотистую жидкость и стала тяжёлой, странной — как будто превратилась в металл, но осталась мягкой. Мальчик под её пальцами вздрогнул. Всё его тело — такое маленькое, такое хрупкое на вид — напряглось, как тетива.

— Не больно, — прошептал он, и в этом шёпоте было удивление. — Почему не больно? Я всегда... всё, что касается моей раны... жжёт. Даже вода. Даже воздух. А ты...

— У меня лёгкая рука, — повторила Лина, завязывая узел. — Я же сказала.

Она открыла глаза.

Лента лежала на ране плотно, аккуратно — так, как учат матери-травницы. И странное дело — края раны, которые раньше светились золотом и сочились ихором, начали темнеть. Затягиваться. Не заживать полностью, конечно — но хотя бы перестали кровоточить этой нечеловеческой кровью.

Мальчик смотрел на неё.

Не как на чудо. Не как на врага. Он смотрел так, как, наверное, смотрит человек, который всю жизнь прожил в тёмной яме без окон и вдруг увидел солнце.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Лина.

— Лина, — повторил он, и её имя в его устах прозвучало как песня. Короткая, на одной ноте, но такая чистая, что у девочки заныло под ложечкой. — Меня зовут Дамиан. Я — последний из рода Золотых Утёсов. И я упал не с неба. Меня сбросили.

Они проговорили, наверное, час. Может, больше. Лина не следила за временем.

Он рассказывал странно — обрывками, как человек, который привык говорить сам с собой и забыл, как разговаривать с другими. Но она слушала.

О мире за горами, где люди не правят, а служат. Где Древние Роды — драконы, принимающие человеческий облик —

живут в замках из обсидиана и спят на золоте. Где правят не короли, а Совет Чешуи. Где его род владел плодородными землями и чистыми источниками, пока другой род — Чёрные Когти — не решил, что Золотые Утёсы должны умереть.

Его родителей убили на его глазах. Ему было восемь. Его старшего брата заживо закопали в шахте, где добывают драгоценные камни. Его сестру — маленькую, с пятнышками чешуи на запястьях — продали в рабство куда-то в южные пустыни, где живут змеелюди.

— А я, — сказал Дамиан, и его серебряные глаза стали влажными, но ни одна слеза не упала — драконы не плачут? Или не умеют? — получил удар в спину, когда пытался защитить сестру. И упал. Падая целую вечность. Сквозь облака, сквозь ветер, сквозь границы миров. И выжил. Потому что я всё ещё жив. Потому что меня нельзя убить так просто. Только замуровать в камень. Или заставить умереть от одиночества.

— От одиночества? — переспросила Лина.

Он кивнул. Теперь слёзы всё-таки потекли — но не по щекам, а как-то странно: застывали на ресницах кристалликами, как иней, и падали на землю с тихим звоном.

— Драконы не созданы для одиночества, Лина. Мы — стайные. Нам нужен свой человек. Тот, кто не боится. Кто смотрит на нас и не видит чудовище. Без такого человека мы чахнем. И умираем. Медленно. Страшно.

Она протянула руку и убрала кристаллик с его ресницы.

Снежинка? Слеза? Он был холодным, этот кристалл, но в нём горел крошечный огонь.

— А я не боюсь, — сказала она просто. — Ты не страшный. Ты красивый. Как... как звезда, которая упала и не разбилась.

Дамиан улыбнулся.

В первый раз за весь вечер.

И в этой улыбке, такой робкой, такой неумелой — словно его губы забыли, как это делается — было столько благодарности, что Лине захотелось заплакать. Но она не заплакала. Она сидела на корточках в оплавленной воронке, босиком, в порванном платье, и держала за руку мальчика-дракона.

Они уснули так. Вместе.

Он — положив голову ей на колени, свернувшись калачиком, как котёнок, которому впервые за долгое время не угрожает опасность. Она — прислонившись спиной к горячей стене воронки и слушая его дыхание.

Равномерное.

Спокойное.

Живое.

Лина проснулась от холода.

Она не сразу поняла, где находится. Потолка не было — вместо него звёзды, но уже не такие яркие, как ночью; заря размывала их, как акварель. Воздух пах гарью, сырой землёй и... больше ничем.

Тишина была пустой.

Колени Лины были холодными и мокрыми от росы. А ещё на них не было ничего.

Ни мальчика с серебряными глазами. Ни его головы. Ни его дыхания.

— Дамиан? — позвала она севшим голосом.

Никто не ответил.

Она осмотрелась. Воронка была пуста. Оплавленная земля застыла, превратившись в гладкую, будто полированную поверхность — чёрную, холодную, без единого следа. Даже те странные металлические чешуйки, которые лежали во круг, исчезли. Всё — словно ничего и не было.

Кроме ленты.

Лента лежала на земле там, где она перевязала рану — аккуратно свернутая и перевязанная бантиком, как будто тот, кто её снял, старался не портить чужую работу. Но лента была уже не розовой. Она стала чёрной, с золотистым отливом, и на её поверхности проступили узоры — мелкие, тесно сплетённые, похожие на... на чешую.

Лина взяла ленту в руки. Она была тёплой. И тяжёлой — тяжелее, чем шёлк мог быть.

И под лентой — на том месте, где лежала голова мальчика — лежал маленький предмет.

Амулет.

Он был размером с её кулак. Овальный, чуть вытянутый, сделанный из того же странного металла, что и чешуйки во круг. Но этот был целым. И живым. Потому что когда Лина

дотронулась до него, амулет засветился изнутри — тусклым золотым светом, как уголёк в золе. И на его поверхности она увидела чешую. Настоящую. Мелкую, плотную, переливающуюся медью и бронзой.

И в центре — крошечная гравировка. Не буквы, не руны. Знак в виде расправленного крыла, такого маленького, что разглядеть его можно было только на свету.

— Дамиан, — снова прошептала Лина. Теперь слёзы всё-таки потекли. Горячие, глупые, детские слёзы. — Ты обещал... Ты ничего не обещал. Но я думала...

Она замолчала, потому что голос предательски дрогнул.

И тогда — откуда-то сверху, с края оврага — донёсся ветер.

Но не простой.

Тёплый. Сухой. Пахнувший сосной и далёким, чужим огнём. И в этом ветре — там, где он касался её щеки — Лина слышала не звук, а ощущение.

Спасибо.

Не голос. Не шёпот. Чувство, которое родилось где-то глубоко в груди, как будто его сердце ударилось о её на одно мгновение и сразу отпустило.

— Ты меня не боялась, — вспомнила Лина. Его слова из прошлой ночи. — Никогда не бойся.

Она зажала амулет в кулаке. Тёплый. Тяжёлый.

И пошла домой.

Мать, конечно, устроила скандал. Как она смела, куда хо-

дила, почему вся в грязи, платье порвано, волосы — гнездо воронье. Лина молчала. Она стояла у печи, сжимая в кармане юбки амулет, и молчала.

— Ты хоть понимаешь, что я чуть не умерла от страха? — кричала мать. В её голосе за криком пряталась настоящая боль. Лина её слышала. — В лесу волки! В лесу разбойники! В лесу...

— Мам.

Лина подняла голову. И мать замолчала на полуслове, потому что взгляд у дочери был не детский. В нём было что-то тяжёлое, что-то огненное — отражение той ночи, той воронки, тех золотых искр.

— Я в порядке, — сказала Лина. — Со мной всё хорошо. И больше я не буду уходить без спроса.

Она соврала насчёт последнего. Но мать не нужно было знать правду.

Чешуйчатый амулет Лина спрятала в старый бабкин сундук, под вышитое полотенце, которым никто никогда не пользовался — слишком красивое, жалко. Она заворачивала его в этот лоскут, когда оставалась одна, и доставала, когда снились плохие сны.

Амулет помогал.

С ним было тепло. С ним был свет — даже в самую тёмную, зимнюю ночь, когда ветер выл в трубе, а мать кашляла кровью от простуды (но это будет позже, через два года, когда на деревню придёт чёрная оспа и унесёт много хороших

людей). С ним Лина чувствовала себя не одной.

Иногда — очень редко, по большим праздникам или в самые тяжёлые минуты — амулет начинал светиться. Слабо, как светлячок в банке, которую накрыли тряпкой. И тогда Лина закрывала глаза и слушала.

Там, внутри свечения, было дыхание.

Чьё-то. Равномерное. Живое.

Драконье.

И она шептала в темноту:

— Я храню тебя. И помню. Тот, кто упал с неба. Ты не один.

Прошли годы. Десять долгих лет. Лина выросла, научилась не плакать по пустякам, приняла смерть матери (чёрная оспа всё-таки забрала её, несмотря на все травы и заговоры), научилась торговаться с мясником и кланяться старосте. Она стала почти взрослой. Почти жёсткой.

Но амулет — тот самый, чёрно-золотой, в чешуе — лежал всё там же. В сундуке. Под вышитым полотенцем.

И ждал.

Глава 1

Графство Дарквуд встречает меня дождём.

Не простым дождём — злым, косым, таким, который бьёт по щекам, как пощёчины, и забирается за воротник плаща, даже если плащ застёгнут на все пуговицы. Я сижу на облучке телеги, рядом с возницей — молчаливым мужиком с лицом, похожим на печёную картошку, — и пытаюсь не стучать зубами. Получается плохо.

— Долго ещё? — кричу я, перекрывая шум ветра и грохот колёс по разбитой дороге.

Возница — его зовут, кажется, Еремей — сплёвывает в сторону и мрачно смотрит вперёд. Там, за завесой серой воды, угадываются силуэты. Дома. Низкие, приземистые, с чёрными от копоти трубами. Деревня, которая даже не пытается казаться уютной.

— Это Угли, — говорит Еремей голосом, каким говорят о покойниках. — Столица нашего графства. Дальше — только замок.

Я вглядываюсь.

Угли. Название говорит само за себя. Дома лепятся друг к другу, как пьяницы в канаве, крыши просели, заборы покосились. Над деревней висит запах — не дым, нет, что-то кислое, гнилое, как будто здесь не живут, а доживают. И тишина. Даже в такой ливень в нормальной деревне должен быть

лай собак, крики детей, стук топора. Здесь — ничего. Только ветер воет в пустых улицах, как голодный зверь.

— А где все? — спрашиваю я.

Еремей снова плюёт.

— По домам сидят. И тебе советую. После заката здесь даже староста дверь не откроет.

Повозка въезжает в Угли, и я понимаю, что он не преувеличивает. Ставни на окнах закрыты, причём не просто закрыты — заколочены досками крест-накрест. На дверях висят пучки травы — полынь, чертополох, что-то ещё, что я не различаю в сумерках. Обереги. Настоящие, серьёзные обереги, а не бабкины присказки.

Я провожу пальцами по карману плаща. Там, внутри, под подкладкой — амулет. Тот самый. Чешуйчатый. Десять лет он лежал в сундуке, и десять лет я почти не доставала его. А перед отъездом почему-то достала. И убрала в карман.

Глупо. Но иначе не могла.

— Твоя аптека, — кивает Еремей, и повозка останавливается.

Я смотрю на дом.

Дом ничем не отличается от соседних — такой же серый, такой же облезлый, с покосившимся крыльцом и окнами, похожими на мёртвые глаза. Единственное отличие — вывеска. На ржавом гвозде висит доска, на которой выжжено: «Корень и Кора. Травы. Настои. Лечение».

Внизу приписано мелом: «Требуется помощница. Свои

травы приветствуются».

Я усмехаюсь. Своих трав у меня нет — только руки, голова и десять лет памяти о том, чему учила мать. Плюс — толстая тетрадь с её рецептами, которую я переписала дважды, чтобы не потерять.

— Спасибо, — говорю я Еремею, спрыгивая в грязь.

Он не отвечает. Только смотрит на меня странно — как смотрят на человека, который идёт на виселицу добровольно, без конвоя.

— Ты бы, девка, — говорит он наконец, и голос у него вдруг становится тихим, почти ласковым, — уезжала. Пока можешь. Пока ноги целы и голова на плечах.

— Мне нужна работа.

— Работа, — он кривится, как от зубной боли. — Работа у аптекаря Стахия — не работа. Это приговор. Он сам — мужик ничего, старый, немощный. А вот то, что к нему приходит...

Он замолкает. Смотрит куда-то вверх.

Я поднимаю голову.

Там, за деревней, на скале — чёрной, отвесной, которая вздымается из тумана, как гигантский зуб — стоит замок. Я уже видела его издалека, когда мы подъезжали к графству. Но сейчас, вблизи, он производит другое впечатление.

Не величие. Не тень. Не угроза.

Жар.

Я чувствую его даже отсюда, на расстоянии в полверсты.

Тёплый, сухой воздух, который не должен быть здесь, в этом промозглом, мокром месте. Как будто за стенами замка горит огромный костёр. Или не костёр.

— Граф Дамиан Вуд, — говорит Еремей, и я вздрагиваю от того, как он произносит это имя. С ужасом. С ненавистью. С чем-то ещё, чему я не могу подобрать названия. — Он там живёт. Один. Уже десять лет. Один, говорю. Ни слуг, ни гостей, ни женщин. Только он и замок.

— И скот разорванный, — добавляю я. Потому что слышала. Ещё в Городе слышала слухи о графстве Дарквуд, которое прозвали «Пастью дракона».

Еремей крестится.

— Скот, говоришь. А то, что в прошлом месяце дровосек пропал? Пошёл в лес за дровами — и нет. Нашли только шапку и топор. А топор был оплавлен. Как свечка расплавлен.

— Может, гром?

— Не было грозы.

Он щёлкает вожжами, и повозка трогается. Уезжает. Оставляет меня одну перед дверью аптеки.

Я стою под дождём, сжимая в кармане амулет, и слушаю, как оттуда, с чёрной скалы, доносится звук. Низкий, вибрирующий, похожий на рык. Или на стон. Или на...

Не знаю. Я не слышала ничего подобного за всю свою жизнь.

— Значит, Дамиан Вуд, — шепчу я. — Граф-дракон. При-

зрак. Чудовище.

Амулет в кармане теплеет.

Я стучу в дверь.

Аптекарь Стахий оказывается совсем не страшным.

Наоборот. Маленький, сутулый, с лысиной, покрытой коричневыми пятнами (печень, сразу ставлю диагноз — травами не вылечить, только облегчить), он похож на старого гриба, который вырос в тёмном подвале и не видел солнца много лет. Но глаза у него живые. Бледно-голубые, водянистые, но живые — и острые. Он оглядывает меня с ног до головы за одну секунду, и я чувствую себя так, будто меня просканировали.

— Лина? — спрашивает он. Голос писклявый, смешной — я ожидала басистого, как у всех «страшных» людей. — Та самая, что писала из Города?

— Та самая, — киваю я, стряхивая воду с капюшона. — Училась у матери-травницы. Девять лет практики. Умею различать ядовитые и лечебные, готовлю настои, мази, припарки. Читать, писать умею. Слушаться умею.

Последнее слово даётся с трудом. Я не умею слушаться. Но наниматель не должен об этом знать.

— Слушаться, — Стахий усмехается и скребёт щёку — на ней что-то вроде старого шрама или ожога. — Тут, девочка, слушаться — не главное. Главное — не совать нос, куда не просят. И не бояться.

— А чего бояться?

Стахий смотрит на меня долго. Так долго, что я начинаю ерзать. Дождь за спиной превратился в стену воды, ветер хлопает ставнями где-то на втором этаже. Аптека пахнет пылью, сушёной мятой и чем-то горьким — тысячелистник? полынь? Или что-то другое, чего я не знаю.

— Замка не боишься? — спрашивает он наконец. — Графа?

— Я его не видела.

— И не увидишь. Если повезёт.

Он разворачивается и идёт внутрь, в темноту. Я за ним. Аптека больше, чем кажется снаружи.

Первая комната — приёмная. Грязная, запущенная, с деревянными скамьями, на которых доски треснули. На стенах — полки с банками. В банках — что-то тёмное, мутное, вызывающее в памяти не лекарства, а ведьмино варево. Я машинально проверяю: тут сушёные грибы, тут — корень валерианы, тут — бог ты мой, это же волчья ягода, и хранится она в открытой банке, в двух шагах от рукомойника.

— Травы неправильно разложены, — говорю я, не удержавшись. — Ядовитые нужно держать отдельно, с маркировкой. И крышки должны быть плотными — сырость портит корни.

Стахий оборачивается. Усмехается снова.

— Я и забыл, как это — когда рядом есть кому сказать правду в лицо. Три года работал один. Последняя помощница уехала в первую же неделю.

— Испугалась?

— Испугалась. Сказала, что в замке по ночам свет видит. Золотой. Окна горят, хотя огня нет. И рычит там. Рычит так, что стёкла в деревне дрожат.

Я молчу.

Мы проходим в заднюю комнату — здесь жилые покои Стахия. Узкая кровать, стол, заваленный бумагами, печь, в которой догорают угли. И ещё одна дверь. Чёрная. С засовом.

— Что там? — киваю я.

Стахий бледнеет. Я замечаю это, даже в тусклом свете масляной лампы.

— Лаборатория, — говорит он. — Для особых заказов. Тебе туда пока рано.

— А когда будет не рано?

— Никогда. Иди сюда, я покажу твою комнату.

Комната оказывается на втором этаже — крошечной клетушкой с косым потолком и окном, выходящим прямо на замок. Чёрную скалу видно как на ладони. И замок — серый, угловатый, с башнями, похожими на когти.

Я смотрю на него.

Амулет в кармане снова теплеет. И на этот раз я отчётливо, на грани воображения, чувствую — там, за стенами, кто-то тоже смотрит на меня. Сквозь камни. Сквозь дождь. Сквозь десять лет.

— Завтра в шесть подъём, — голос Стахия возвращает

меня в реальность. — Умывальник во дворе. Завтрак — что найдёшь. И, Лина...

Он мнётся на пороге. Такая неуверенность не идёт его старому, уставшему лицу.

— Если услышишь ночью шорох в лаборатории — не заходи. И не выглядывай в окно. Поняла?

— Поняла.

Он закрывает дверь. Я слышу, как он возится с засовом с той стороны — будто запирает не меня, а себя от меня.

Я остаюсь одна. В комнате, пахнувшей плесенью и старыми травами. Перед окном, из которого виден замок-призрак.

Амулет в кармане пульсирует в такт моему сердцу.

Первую неделю я работаю как одержимая.

Стахий, оказалось, не просто аптекарь — он единственный лекарь на всё графство. К нему идут с зубной болью, с ломотой в костях, с родильной горячкой и с порчей (последнее — шёпотом, крадучись, чтобы соседи не услышали). К нему приходят в любое время дня и ночи, потому что в Дарквуде больше не к кому.

Я помогаю принимать больных. Готовлю мази — мать учила меня взбивать их до состояния густой сметаны, чтобы впитывались, а не стекали. Сортирую травы — те самые банки на полках в приёмной. Переписываю рецепты, потому что почерк у Стахия как у курицы лапой.

По ночам я падаю на жёсткую кровать без сил. И слушаю. Звуки в Дарквуде странные.

Ночью, когда деревня затихает, я слышу не просто ветер и сверчков. Я слышу стон. Низкий, протяжный, идущий не со стороны леса — со стороны замка. Иногда — рык. Короткий, хриплый, обрывающийся так резко, будто его подавили рукой. Иногда — звук, похожий на взмах огромных крыльев. Но это, наверное, скрип деревьев. Или моё воображение.

Амулет в кармане каждый раз нагревается.

Я не достаю его. Боюсь.

А ещё — по ночам ходят слухи.

Я слышу их днём, когда в аптеке пауза и можно спуститься в «Кривую утку» — единственный трактир в Углях — за горячим супом. Трактирщик Глеб — здоровенный мужик с медвежьей шеей — наливает мне похлёбку в щербатую миску и ворчит:

— Опять ты, городская. Не боишься?

— Чего?

— Того. — Он кивает в сторону окна. За мутными стёклами темнеет скала с замком. — На этой неделе у лесника корову задрали. Не волки, говорит. Волк жрёт мясо и кости грызёт. А тут — туша выпотрошена, но языки почему-то не тронуты. И шкура сожжена. Не огнём, а... жаром каким-то. Как будто изнутри выпекли.

Я поднимаю бровь.

— Думаете, это граф?

Глеб оглядывается по сторонам. В трактире никого — полдень, мужики в поле.

— Не знаю, что думать, — голос у него становится низким. — Знаю только, что десять лет назад, когда граф только приехал сюда, он был нормальным. Молодым, весёлым. Даже в нашей «Утке» сиживал, пиво пил, с девками шутил. А потом — как подменили. Закрылся в замке. Слуг разогнал. Ест, говорят, один раз в три дня, а то и реже. Не спит. По ночам его кабинет горит свечами до утра.

— А зверь?

— Зверь пришёл позже. Через год. Сначала скот. Потом собаки. Потом — тот дровосек. И ещё баба одна, Марфа, пошла в лес по ягоды — не вернулась. Нашли пояс от юбки на ветке. И ветка была обуглена.

Я допиваю суп. Вкуса не чувствую.

— Так почему не уедете? — спрашиваю я. — Вы, все. Вся деревня.

Глеб горько усмехается.

— А куда, девка? Земля наша. Отцы, деды здесь жили. Да и король сказал: графство Вудов — неприкосновенно. Пока граф жив, мы не имеем права уйти. Мы — его. Как скот. Как поля.

Скот. Я вспоминаю, как Еремей на повозке крестился, произнося имя Дамиана Вуда. Как Стахий запирает лабораторию. Как заколоченные окна.

Страх в Дарквуде — не абстрактный. Он плотный, как смола. Он течёт по улицам ночью и застывает на порогах домов.

А я сплю под крышей человека, который что-то знает. И молчит.

На восьмой день Стахий говорит:

— Сегодня идёшь в замок.

Я мою банки после отвара. Рука замирает.

— Что?

— Граф прислал записку. — Стахий выуживает из кармана грязный клочок бумаги. На нём несколько строк, написанных каллиграфическим, почти женским почерком:

«Господин аптекарь. Моя бессонница усилилась. Требуется отвар из корня сон-травы, Melissa и добавкой...»

Дальше идёт список, который я узнаю. Комбинация трав, усыпляющих даже буйного. Сон-трава — опасная вещь, её дозируют по каплям. Мелисса — мягче, успокаивает нервы. И ещё что-то — безымянное, обозначенное одной буквой: «К.».

— Что значит «К.»? — спрашиваю я.

Стахий прячет глаза.

— Секретный ингредиент. Идёшь ты, потому что я стара и немощен. Дорога крутая, я не поднимусь.

— Но я не знаю, куда идти.

— По главной улице до конца, потом тропа вверх. Замок не пропустишь.

Я смотрю на него. Стахий похож на ребёнка, который боится наказания. Он вертит в руках пустой пузырьёк, то ставит его на стол, то снова берёт.

— Почему именно я? — спрашиваю я тихо. — Другие помощницы уезжали. Боялись.

— Может, ты не боишься? — Он поднимает глаза. В них что-то мелькает — надежда? предупреждение? — Или боишься, но идёшь. Это тоже ценность.

Я открываю рот, чтобы спросить ещё. Но Стахий уже разворачивается и идёт в лабораторию — туда, в чёрную дверь, куда мне вход запрещён.

Щёлкает засов.

И я остаюсь стоять с клочком бумаги в руке.

Отвар я готовлю сама.

Стахий не вышел из лаборатории до вечера, и я решила — к чему его тревожить? Я знаю все травы. Я знаю дозировки. Мать учила меня готовить сонные настои для буйных пациентов — на случай, если кто-то в деревне сойдёт с ума «от горя или от бесов».

Я беру ступку. Сушёные корни сон-травы растираю в порошок — аккуратно, чувствуя, как пальцы немеют от эфиров. Мелиссу режу мелко-мелко, почти в труху. Заливаю кипятком. Добавляю ложку мёда — чтобы горечь убить.

А в конце — смотрю на букву «К.».

Понятия не имею, что это. Но в банках Стахия есть одна — с чёрной крышкой, на которой выцарапана именно эта буква: «К.». Я открываю её. Внутри — тёмно-синие, почти чёрные кристаллы. Пахнут грозой и металлом.

Я добавляю три кристалла — как написано в записке: «три

доли».

Жидкость в отваре вспыхивает золотом на секунду. А потом становится обыкновенным чаем — тёмно-коричневым, горьким на запах.

Я разливаю отвар в стеклянный флакон с притёртой пробкой. Прячу в холщовый мешок.

И выхожу за дверь.

Путь к замку занимает сорок минут.

Сначала — грязная главная улица Углей. Ставни закрыты, но я чувствую — за ними следят. Мелькают тени. Чьи-то пальцы дёргают занавески. Старуха в чёрном платке крестится, глядя на меня из щели.

Я иду быстро. Под ногами хлюпает грязь, перемешанная с золой — отсюда и название деревни. Воняет сыростью и чем-то кислым, как прокисшее молоко.

За деревней — пустошь. Голая земля, выжженная по краям. Ни травинки, ни кустика. Будто кто-то каждую ночь проводит здесь огненную борозду.

А дальше — тропа вверх.

Она каменистая, крутая, пальцы ног упираются в подошву сапог. Я останавливаюсь три раза перевести дыхание. Лёгкие горят — не от усталости, от воздуха. Он здесь странный. Сухой. Горячий. Как в бане, только без пара.

И жар.

Он идёт от скалы. Он идёт от каждого камня. Я кладу ладонь на выступ — тёплый. Не просто нагретый солн-

цем (солнца здесь не было все восемь дней, только туман и дождь), а тёплый изнутри. Как живой.

— Глупо, — шепчу я себе. — Камни не живые.

Но амулет в кармане пульсирует так сильно, что отдаёт в рёбра.

Замок встречает меня тишиной.

Не той тишиной, какая бывает в пустом доме — со скрипом половиц и вздохами ветра. Здесь тишина плотная, злая. Она давит на уши, как вата.

Ворота открыты. Не распахнуты — открыты, ровно настолько, чтобы пролез человеку. Я пролезаю боком, прижимая мешок с отваром к груди.

Внутренний двор — пуст. Ни конюшен, ни слуг, ни телег. Посередине — сухой фонтан, в чаше которого лежат обгоревшие листья. По периметру — галереи с колоннами, в каждой колонне — трещина.

Я иду к главной двери. Она высокая, дубовая, окованная железом. Без ручки. Без молотка. Просто — зеркало из тёмного дерева.

— Что, стучать? — бормочу я.

И в этот момент дверь открывается сама.

Не скрипнув.

Холл замка — это чёрный мрамор, высокие потолки и свет.

Станный свет. Он не идёт от свечей или ламп — он идёт из стен. Камни светятся слабым золотым сиянием, как поту-

хающие угли. И от этого всё вокруг кажется живым, дышащим.

Я делаю шаг. Второй.

Мои сапоги стучат по полу, и каждый шаг разносится эхом, как удар колокола. Я чувствую себя мышью, которая забежала в собор.

— Граф Дамиан Вуд? — зову я. Голос дрожит, и я ненавижу себя за эту дрожь. — Я из аптеки. Стахий прислал меня. С отваром от бессонницы.

Никто не отвечает.

Но я слышу дыхание.

Где-то наверху. Или впереди. Или за спиной.

— Ладно, — говорю я себе. — Пойду на звук.

Я иду по коридору. Длинному, бесконечному, со сводами, на которых вырезаны драконы. Не сказочные, не церковные — настоящие. С расправленными крыльями, с когтями, вцепившимися в камень, с глазами, которые смотрят вниз — на меня.

Коридор выводит в библиотеку.

Я понимаю, что это библиотека, по запаху. Кожа, пергамент, пыль веков. Стеллажи уходят вверх, до потолка, и на каждом — книги. Толстые, тонкие, в металлических переплётах, с застёжками и без.

Посередине — стол. На столе — свеча в серебряном подсвечнике. Свеча не горит, но фитиль курится, как будто её погасили минуту назад.

И кресло.

В кресле — человек.

Он сидит спиной ко мне.

Я вижу только плечи — широкие, даже через ткань тёмного сюртука чувствуется сила. Волосы — тёмные, почти чёрные, чуть ниже ушей, небрежно зачёсанные назад. Одна прядь падает на лоб.

— Подойди, — говорит он.

Голос.

Низкий. Хриплый. Как будто он не говорил несколько дней — или проорал всё, что можно. Но в этом голосе есть что-то такое, от чего мои колени становятся ватными. Не страх. Другое.

Я подхожу. Делаю пять шагов. Останавливаюсь в трёх метрах от кресла.

— Я принесла отвар.

— Положи на стол.

Я кладу флакон. Стол холодный, хотя весь замок — жаркий. Странно.

— Я могу идти? — спрашиваю я, хотя не хочу уходить. И не могу понять — почему.

Молчание.

Потом он поворачивается.

Я вижу его лицо.

Оно бледное. Бледнее, чем должно быть у живого человека. Скулы острые, губы тонкие, на подбородке — тень щети-

ны. Но глаза.

Глаза.

Тёмные. Почти чёрные. Но когда он смотрит на меня — в них вспыхивает золото. На секунду. На одну короткую секунду я вижу в них не просто человека. Я вижу того, кто может испепелить меня одним взглядом.

Или спасти.

— Лина, — говорит он.

Не спрашивает. Утверждает.

— Откуда вы знаете моё имя? — мой голос звучит ровно. Я горжусь этим.

— Стахий говорил. — Он откидывается в кресле, и я замечаю, как его пальцы сжимают подлокотники. Костяшки белеют. — Ты работаешь у него неделю.

— Восемь дней.

— Восемь, — он кивает. — Я считал.

Я молчу. Не знаю, что на это ответить.

Он берёт флакон, откупоривает пробку, нюхает. Я жду, что он сделает замечание — о дозировке, о качестве, о «К.» в составе. Но он просто ставит флакон обратно.

— Хорошо, — говорит он. — Спасибо.

— Я могу идти? — повторяю я.

— Можешь. Но один вопрос.

Я замираю.

— Ты боишься меня? — он поднимает на меня глаза. И в этот раз золото не вспыхивает. Глаза просто тёмные. Уста-

лые. Очень, очень одинокие.

— Нет, — говорю я. И добавляю, не думая: — Я никогда не боялась тех, кто упал с неба.

Я вижу, как он меняется в лице. Как зрачки расширяются, как его пальцы впиваются в подлокотники так, что дерево трещит.

— Уходи, — говорит он. Голос стал ниже. Опаснее. — Уходи сейчас же.

Я разворачиваюсь и иду к выходу. Быстро. Почти бегом. Но на пороге останавливаюсь.

— Ваш отвар, — говорю я, не оборачиваясь. — Пейте по три ложки перед сном. Не больше. Иначе сердце остановится.

Тишина.

Потом — шёпот, который я слышу, даже находясь в пяти метрах.

— Ты не боишься. А зря.

Я выхожу из замка.

И только спустившись на полпути к деревне, позволяю себе дрожать.

Амулет в кармане жжётся.

Глава 2

После той ночи я не сплю.

Не от страха — хотя он есть, липкий, холодный, который просыпается каждый раз, когда я закрываю глаза и вижу золотой всполох в его зрачках. Нет, я не боюсь графа. Я боюсь того, что он пробудил во мне. Того, что заставило меня на пороге его замка — его замка, проклятого, опасного, дышащего жаром — сказать не «до свидания», а «пейте по три ложки».

Как сиделка. Как заботливая дура.

Я ворочаюсь на жёсткой кровати, смотрю в окно на чёрную скалу, и думаю. Думаю о том, кто он на самом деле. Граф Дарквуд. Дамиан Вуд. Последний из рода Золотых Утёсов.

Десять лет.

Десять лет прошло с той ночи в овраге, когда десятилетняя девчонка перевязывала рану мальчику с серебряными глазами. Теперь он — взрослый мужчина. Холодный. Усталый. Опасный — он сказал это сам. И всё же он называл меня по имени. Сказал, что считал дни —

— Восемь. Я считал.

Что это значит? Считал дни, которые я работаю в аптеке? Считал дни с того момента, как я приехала в Дарквуд? Или —

Нет. Не может быть. Не может он помнить ту ночь.

Ребёнок, который упал с неба, и ребёнок, который его перевязал — это история из другого мира, из другого времени. Прошло десять лет. Я выросла. Он вырос. Лента давно истлела — я оставила её в том овраге, на земле, вместе с амулетом... Нет, амулет я забрала. Но ленту — ту самую, розовую, которая стала чёрно-золотой — я не взяла. Она осталась там. Или он забрал её?

Амулет. Я провожу пальцами по карману. Он всё ещё здесь. Тёплый. Пульсирующий.

И в этой пульсации мне слышится: «Ты меня не боялась. Никогда не бойся».

Но это же глупость. Амулет не может говорить. Амулет — просто кусок металла, пусть и странного, пусть и тёплого. Просто память. Просто...

— Лина, — раздаётся за дверью голос Стахия. — Ты уже встала? Восемь утра. Внизу больной.

Я вздрагиваю.

— Сейчас!

Я сползаю с кровати, натягиваю платье — единственное приличное, тёмно-зелёное, почти чёрное, чтобы грязи не было видно — и бегу вниз.

Больной оказывается мужиком с флюсом. Щека распухла, глаз заплыл, он стонет и держится за челюсть, как за последнюю надежду.

— Зуб, — мычит он. — Зуб, милая, вырви, сил нет.

— Я не зубодёр, — говорю я, хотя мать учила и этому.

Настойка из коры дуба и гвоздики, примочка на ночь, утром — если не пройдёт — тогда уже щипцы и молитва.

Я даю мужику полоскание, накладываю припарку, считаю в уме, сколько коры дуба осталось в аптеке. Мало. Очень мало.

— Стахий, — говорю я, когда мужик уходит, — нам нужно пополнить запасы. Корень валерианы почти кончился, дубовая кора на исходе, мать-и-мачехи нет вообще.

Стахий сидит за столом, уставившись в пустоту. Он сегодня какой-то бледный. Ещё бледнее, чем обычно. Под глазами — синие круги, руки дрожат.

— Стахий?

— А? — Он моргает. — Да, да, конечно. Возьми возницу, съезди в Город. Или...

Он замолкает и смотрит на дверь, ведущую в лабораторию. Чёрную. Запертую.

— Или что?

— Или я сам схожу. Ты пока оставайся.

— Я могу помочь. Я собирала травы с детства. В лесу... — я осекаюсь, потому что лицо Стахия вмиг становится жёстким.

— В лес, — говорит он, — ходить не надо. Совсем. Ты поняла?

— Почему?

— Ты девушка умная. Сама догадаешься.

Он встаёт, идёт к лаборатории, отодвигает засов. На се-

кунду дверь приоткрывается — и я вижу краем глаза тусклый красный свет. И слышу запах. Тот самый — горький и сладкий одновременно, как бабкины травы «от лихоманки».

Запах из оврага. Десятилетней давности.

— Не заходи, — бросает Стахий, не оборачиваясь. — Никогда.

Дверь закрывается. Щёлкает засов.

Я остаюсь стоять в приёмной, сжимая в кармане амулет, и понимаю одно: мой хозяин лжёт. Лжёт о том, что он просто аптекарь. Лжёт о том, почему он живёт здесь, на краю драконьего графства. Лжёт о том, что не знает, что скрывается в замке на скале.

Но самое страшное — я чувствую, что он лжёт не мне. Он лжёт себе.

На девятый день в аптеку приходит записка от графа.

На этот раз её приносит не почтальон (почтальон в Дарквуд не заезжает, говорят, боится). Её приносит мальчишка — лет двенадцати, босой, грязный, с глазами, в которых застыл ужас.

— Дяденька Стахий, — лепечет он, — вам там... из замка... велели передать.

И протягивает конверт из плотной чёрной бумаги. На конверте — сургучная печать с изображением расправленного крыла. Того самого. Которое я видела на амулете.

Стахий берёт конверт дрожащими пальцами. Читает. Бледнеет.

— Лина, — говорит он. — Снова тебе.

— Что?

— Граф просит приготовить новый отвар. И принести лично. — Он протягивает мне письмо. Я читаю:

«Уважаемый господин аптекарь. Отвар, который принесла ваша помощница, помог — я проспал четыре часа. Прошу приготовить ещё, с тем же составом. Затем — жду её. Не отказывайте старику».

— Старику, — хмыкаю я. — Ему же нет тридцати.

— Возраст драконов меряют не годами, — тихо говорит Стахий и тут же зажимает рот рукой, как будто сказал лишнее.

Я смотрю на него.

— Так ты знаешь.

— Ничего я не знаю. — Он вырывает у меня письмо, комкает, бросает в печь. — Готовь отвар. И иди. Только...

Он мнётся.

— Надень тёплый плащ. В замке холодно.

— В замке жарко, — возражаю я. — Камни горячие.

— Внутри — жарко, — он качает головой. — А в его сердце — холодно. Вечный лёд, девочка. Помяни мои слова.

Я снова стою перед воротами замка.

Дождь кончился, но небо всё равно серое, тяжёлое, давит на плечи. Ветер гоняет по земле сухие листья — откуда они здесь, в этой выжженной пустоши? — и я слышу, как они шуршат, как живые.

Отвар в мешке — тот же состав. Три ложки сон-травы, горсть мелиссы, мёд и загадочные кристаллы «К.» . Кристаллов я положила три. Как в прошлый раз.

Амулет в кармане нагревается, как только я переступаю порог внутреннего двора.

Ворота снова открываются сами.

Сегодня я не бреду наугад. Я иду в библиотеку — по памяти. Длинный коридор, своды с драконами, запах пыли и пергамента. Но когда я вхожу в библиотеку — кресло пусто.

Я стою, не зная, куда идти дальше.

— Вы пришли, — раздаётся голос. Не из кресла. Сверху.

Я поднимаю голову.

На галерее второго этажа, опираясь на перила, стоит он. Граф Дамиан Вуд. Сегодня он одет иначе — не в чёрный сюртук, а в простую белую рубашку, расстёгнутую на две пуговицы, и тёмные штаны. Без сапог — босиком. И от этого он кажется не графом, не драконом — просто мужчиной, уставшим настолько, что ему всё равно, как его видят.

— Я принесла отвар, — говорю я. — С тем же составом.

— Спускайся, — говорит он. — Не кричать же мне сверху.

Я поднимаюсь по лестнице. Деревянные ступени скрипят под моими сапогами, но он идёт босиком и не издаёт ни звука — как привидение.

Он пропускает меня вперёд, в комнату, которая оказывается кабинетом.

Кабинет графа Дарквуда — это не комната, это катакомба.

Стены здесь не каменные, а деревянные — тёмный дуб, покрытый резьбой. На резьбе — драконы. Драконы везде: на стенах, на потолке, на ножках стола, на корешках книг. Они спят, летят, извиваются, сражаются, умирают. Один — огромный, с расправленными крыльями — занимает всю стену за креслом, в котором сегодня сидит граф.

— Садись, — кивает он на стул напротив.

Я сажусь. Стул жёсткий, неудобный, с прямой спинкой — как в церкви.

Граф сидит напротив, положив руки на стол. На столе — ничего. Ни бумаг, ни чернильницы, ни свечей. Только пуста.

— Я вас слушаю, — говорю я, чтобы прервать тишину.

Он смотрит на меня.

И тут я замечаю.

Он не изменился за два дня. Нет. Он такой же бледный, такой же уставший. Но сегодня я вижу больше. Потому что он сидит ближе. Потому что в кабинете светит не золотое сияние стен, а обычная масляная лампа, которую он зажёт на столе.

Бледность его кожи — не человеческая. Она почти прозрачная. Под ней проступают вены — но не синие, как у людей, а золотистые, тусклые, как старая позолота. Под глазами — тени, такие глубокие, будто он не спал не дни — недели.

Он молод — я вижу это сейчас отчётливо. Лет двадцать пять, может, двадцать восемь. Но глаза его старые. Очень

старые.

— Ты принесла отвар, — говорит он. Не вопрос — утверждение.

— Да. Вот.

Я достаю флакон из мешка, ставлю на стол. Он смотрит на него, но не берёт.

— Почему ты не уехала? — спрашивает он. Голос ровный, спокойный — но в нём слышно что-то, похожее на боль.

— Куда?

— Отсюда. Из Дарквуда. Из этого проклятого графства. Ты здесь всего неделю — уже видела, что люди живут в страхе. Ты слышала ночные рыки. Ты знаешь, что скот режут. — Он поднимает глаза, и в них — золото. Только сейчас оно не вспыхивает, а горит ровно, как огонь в печи. — Ты знаешь, кто я. Или догадываешься.

— Догадываюсь, — говорю я тихо.

— И не боишься.

— Я уже говорила: нет.

Он резко встаёт. Я вздрагиваю — машинально, хотя внутри всё спокойно. Он обходит стол, останавливается в метре от меня.

— Ты глупая, — говорит он. Не зло. Устало. — Или самоубийца. И то, и другое плохо.

— Может, я просто не привыкла убегать от того, что кажется страшным.

— Тебе не кажется. — Он наклоняется — так быстро, что

я не успеваю отшатнуться. Его лицо в двух ладонях от моего. Я чувствую жар — не от тела, от него, изнутри. Как будто в груди у него горит костёр. — Я — настоящий. Каждый слух, каждая легенда — правда. Я убивал. Я буду убивать. Моя природа — огонь, разрушение, смерть. И когда я теряю контроль — а я теряю его часто — никто рядом не выживает.

— Тогда почему вы ещё не убили меня? — мой голос удивительно ровный. Я не понимаю, откуда во мне эта смелость. Или глупость.

Он замирает.

Отступает на шаг. На два. Смотрит на меня так, будто видит впервые.

— Потому что ты пахнешь ландышами, — говорит он тихо. — А ландыши для моего народа — священный запах. Запах дома. Запах покоя. Запах...

Он замолкает. Садится обратно в кресло, отворачивается к стене с огромным драконом.

— Уезжай, Лина. Пока я ещё могу это сказать. Пока я помню, что я — человек. Или то, что от него осталось.

Я не уезжаю.

Но вместо этого делаю то, что любая нормальная девушка на моём месте не сделала бы.

Я встаю со стула. Подхожу к нему. Сажусь на пол у его ног.

— Что ты делаешь? — Он не смотрит на меня. Голос напряжённый, как струна, которую вот-вот перережут.

— Смотрю, — говорю я.

Я смотрю на его руки. Они лежат на подлокотниках кресла — длинные пальцы, тонкие запястья. Белая кожа, почти синяя у костей. И манжеты рубашки — сползли вниз, когда он откинулся в кресле.

Под левой манжетой — кожа.

Не человеческая.

Она тёмно-золотая, как старая бронза, но в трещинах. Мелких, глубоких, похожих на русла высохших рек. Из трещин не сочится кровь — но видно, что когда-то сочилась. Или сочится, но медленно, под кожей.

Чешуя.

Она не блестит, не переливается. Она мёртвая. Как лава, которая потухла и застыла уродливыми корками.

— Что с вашей рукой? — спрашиваю я шёпотом.

Он резко одёргивает манжету. Но я уже всё видела.

— Проклятие, — говорит он. — Оно поднимается от сердца к пальцам. С каждым годом всё больше. С каждым днём — особенно когда я злюсь. Или когда...

— Когда?

— Когда кто-то будит во мне то, что я похоронил.

Он наконец смотрит на меня. Смотрит сверху вниз — я на полу, у его ног, как нищенка. Но чувствую себя не униженной. Наоборот — сильной.

— Ваш отвар, — говорю я. — Он помогает?

— Четыре часа сна — это больше, чем у меня было за последние полгода. — В его голосе нет благодарности. Одна

констатация факта. — Твои руки — лёгкие. В прошлый раз, когда я пил отвар, приготовленный Стахией, меня вырвало кровью.

Я холодею.

— Стахий готовил вам отвар?

— Один раз. В прошлом году. Я думал, что умру.

— Но вы не умерли.

— Я не могу умереть от яда. Драконья кровь выжигает всё, кроме особых составов. — Он усмехается, и эта усмешка страшнее крика. — Я бессмертен, Лина. Во всяком случае, так говорят. На самом деле — я просто не могу умереть быстро. Моё тело будет гнить, рассыпаться в прах, но сердце будет биться ещё сотни лет. Если никто не...

Он замолкает.

— Если никто не что? — переспрашиваю я.

— Ничего. — Он закрывает глаза. — Ты слишком много знаешь. Уходи.

— Я не уйду, пока вы не станете смотреть на меня как на человека, а не на приговор.

Он открывает глаза. Вертикальные зрачки.

Я вижу это впервые так ясно. Они расширены, как у кошки в темноте, но не круглые, нет — вертикальные щели, в которых горит золото.

— Ты видишь? — спрашивает он.

— Вижу.

— И это не пугает?

— Нет.

Он сжимает челюсти. Я слышу, как скрипят зубы.

— Тогда ты либо святая, либо безумная. А святых в Дарк-вуде не бывает.

Мы молчим. Долго. Я сижу на полу, прислонившись спиной к его креслу. Он — застыв, как статуя.

— Ваши глаза, — говорю я наконец. — Они были другими десять лет назад.

Он не отвечает. Но я чувствую, как напряглось его тело.

— Вы не удивились, что я назвала вас по имени в прошлый раз. Вы сами назвали меня. Мы не знакомы. Или знакомы?

— Нет, — говорит он слишком быстро.

— Лжёте.

Он резко поворачивается. Я оказываюсь в ловушке между его коленями и спинкой кресла. Он нависает надо мной — большой, тёмный, опасный. Но я не отвожу взгляда.

— Ты ничего не знаешь, — цедит он сквозь зубы. — Ты понятия не имеешь, что было той ночью. Что я видел. Кого я запомнил.

— Запомнили?

— Девочку с чёрными волосами, в платье с васильками, с лентой в косе. — Его голос меняется — становится тише, моложе. Как у того мальчика из воронки. — Она не боялась моей раны. Не боялась ихора. Она перевязала меня и просидела всю ночь, держа за руку. А утром я ушёл, потому что

если бы я остался — её бы убили те, кто меня преследует.

Я смотрю на него. И слезы текут по моим щекам сами — я не могу их остановить.

— Это была я, — шепчу я. — Я та девочка.

— Я знаю, — говорит он. — Я узнал тебя за секунду до того, как ты вошла в замок. По запаху. По теплу. По тому, как стучит твоё сердце.

Он протягивает руку — ту, что в манжете — и очень осторожно, как будто боится раздавить, убирает прядь волос с моего лица.

— Ты выросла, — говорит он. — И стала ещё красивее. Но страх внутри меня — нет. Он только вырос. Потому что теперь я знаю: ты здесь, рядом, и я могу тебя убить. Не нарочно. Случайно. Один сбой, один миг ярости — и от тебя останется пепел.

— Но вы не убили меня за три встречи, — говорю я. — Не убьёте и на четвёртой.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что тот, кто так отчаянно просит «уезжай, я опасен», на самом деле просит «останься, мне страшно одному». Я знаю этот язык. Моя мать боялась, что заразит меня чёрной оспой. Она кричала на меня, гнала из комнаты, швырялась подушками. А я всё равно сидела у её кровати, пока она не уснула.

Дамиан молчит. Его пальцы всё ещё у моего виска, тёплые, почти горячие.

— Твоя мать умерла? — спрашивает он.

— Да. Через две недели после того, как перестала меня гнать.

— Мне жаль.

— Мне — тоже. Но я не жалею, что осталась. И сейчас не пожалею.

Он убирает руку. Откидывается в кресле. Закрывает глаза, и я вижу, как зрачки снова становятся круглыми — человеческими.

— Ты невозможна, — говорит он.

— Я слышала это уже много раз.

— И что ты делала?

— Оставалась.

Он снова открывает глаза.

— Хочешь чаю? — вдруг спрашивает.

Я моргаю. Такой обычный вопрос после такого разговора — это как вылить ушат холодной воды на голову.

— Что?

— Чаю. Или ты предпочитаешь травяные отвары? Вы же, травницы, пьёте только то, что сами собрали.

— Я пью обычный чай, — говорю я, чувствуя, как напряжение отпускает. — С мятой и липой.

— У меня нет мяты и липы. — Он встаёт, идёт к маленькому столику у стены, где под медным колпаком стоит чайный сервиз. — Есть только чёрный чай с бергамотом. Или зелёный с жасмином.

— Чёрный, — говорю я.

Он заваривает чай. Я наблюдаю за его руками — длинные пальцы, аккуратные движения. Он не касается заварника голыми руками — использует полотенце. И я замечаю, что руки его слегка дрожат.

Он ставит передо мной чашку. Себе — не наливает.

— Вы не будете? — спрашиваю я.

— Я не пью. — Он садится напротив, снова откидывается в кресле.

— Вообще?

— Вообще. Жидкости притупляют моё чутьё. А в этом месте — он кивает куда-то в сторону окна, за которым чернеет лес — чутьё — единственная защита.

Я делаю глоток. Чай хороший — дорогой, с фруктовыми нотками.

— А едите вы что?

— Почему тебя это интересует?

— Потому что вы бледный, как смерть. И под глазами — круги. И эти трещины на руке... — я киваю на его манжету. — Это от голода? От нехватки чего-то?

Он смотрит на меня долго. Так долго, что я успеваю допить чай до половины.

— Драконы едят не хлебом единым, — говорит он наконец. — Нам нужна пища, богатая энергией. Сырое мясо. Раскалённые угли. Иногда — драгоценные камни. Но у меня нет ни того, ни другого, ни третьего.

— У вас нет мяса? Вы же граф.

— У меня есть деньги, — он усмехается. — Но мясо, которое привозят из Города, протухает через день. А свежего — нет, потому что охота в моём лесу приводит к... несчастным случаям.

— К тем самым разорванным коровам? — я смотрю ему прямо в глаза.

Он не отводит взгляда.

— Я не трогаю скот, Лина. Когда я сказал, что убивал — я имел в виду давно. В другом мире. Здесь, в Дарквуде, я не причинил вреда ни одному человеку. Ни одному живому существу — кроме тех, кто пытался проникнуть в замок. Но они были не людьми.

— А кто?

— Охотники. Наёмники. Те, кто знал, кто я. Те, кто хотел содрать с меня шкуру и продать королю за золото.

Он произносит это так буднично, как будто говорит о погоде. Но я вижу, как сжимаются его пальцы на подлокотниках.

— А скот кто разрывает?

— Я не знаю, — он качает головой. — В лесу кто-то есть. Не люди. Не звери. Но и не я. Я даже не выхожу из замка уже три года.

— Три года?

— Три года, восемь месяцев и двенадцать дней.

Он помнит. До дня. Как и тот факт, что я работаю в аптеке

восемь дней.

Он считает.

Я допиваю чай. Ставлю чашку на стол.

— Мне пора, — говорю я. — Аптека, больные, вы же понимаете.

— Понимаю. — Он встаёт, провожает меня до двери. И на пороге кабинета останавливается.

— Лина.

— Да?

Он мнётся. Я никогда не видела, чтобы взрослый мужчина так мялся, как нашкодивший мальчишка.

— Ты можешь приходить ещё. Не только с отваром. Ты можешь приходить... когда захочешь.

— Зачем?

— Чтобы я не забыл, как выглядит человеческая улыбка. Я улыбаюсь. Ему.

— Хорошо, — говорю я. — Я приду. Но тогда вы будете есть.

— Что?

— То, что я принесу. Я готовлю неплохо.

— Драконы не едят человеческую пищу, — говорит он, и впервые в его голосе я слышу не боль, не усталость — что-то тёплое. Почти живое.

— А вы не дракон, — говорю я. — Вы Дамиан. Тот самый мальчик с серебряными глазами. И он когда-то обещал, что я никогда не должна бояться. А я обещаю — вы никогда не

будете один.

Он смотрит на меня.

Золото в его глазах вспыхивает — ярко, как солнце. На секунду мне кажется, что сейчас всё вокруг загорится.

Но он гасит этот огонь. Кивает.

— До завтра? — спрашивает он.

Я не обещаю. Но мы оба знаем: я приду.

И, когда я спускаюсь по каменистой тропе, сжимая в кармане амулет, я слышу сзади — с вершины скалы — звук.

Не рык. Не стон.

Музыку.

Кто-то играет на скрипке. Старую, печальную мелодию, которую моя мать напевала перед сном.

Я останавливаюсь. Слушаю.

И плачу. От счастья, от страха, от того, что этот глупый, проклятый мир всё-таки иногда позволяет чуду случиться.

В аптеке Стахий смотрит на меня долгим взглядом.

— Жива, — говорит он.

— Как видите.

— Отвар отдала?

— Отдала.

— Он пил чай?

— Мы пили чай вместе. Он — не пил. Я — пила.

Стахий вздыхает.

— Ты вляпалась, девочка.

— Знаю.

— Не уедешь?

— Не уеду.

Он замолкает. Идёт к лаборатории, отодвигает засов.

— Тогда ложись спать. Завтра рано вставать.

Дверь за ним закрывается.

Я сижу на скамье в приёмной и смотрю на чёрную дверь.

И думаю: что скрывается там, за этой дверью? И почему Стахий, который знает правду о графе, не боится его — но боится своей лаборатории?

Амулет в кармане теплеет в такт далёкой музыке.

Я ложусь спать. И впервые за много лет мне снятся не кошмары.

Мне снится дракон с серебряными глазами, который играет на скрипке.

Для меня.

Глава 3

Он предложил мне работу на следующий же день.

Не через неделю. Не после раздумий. На следующий день, когда я поднялась в замок с новым отваром (потому что старый закончился, а спать без него он не мог), Дамиан сидел в кабинете и ждал меня с бумагой в руках.

— Садись, — сказал он тем голосом, который я уже начала узнавать. Низким, чуть хриплым, с нотками усталости, которые стали для меня такими же привычными, как запах трав в аптеке.

Я села. На тот же стул. На то же место.

Он положил передо мной лист пергамента. Исписанный каллиграфическим почерком — ровным, красивым, почти печатным. Слишком правильным для человека, который не спит ночами и ест раз в три дня.

— Что это? — спросила я.

— Контракт. Ты будешь работать на меня.

Я подняла бровь.

— Я уже работаю. У Стахия.

— Будешь работать и у него, и у меня. — Он откинулся в кресле и сложил руки на груди. Сегодня на нём был тёмно-синий сюртук, застёгнутый на все пуговицы. Манжеты скрывали руки. Но я знала, что под ними — чешуя. — Ты будешь приходить в замок каждый день. Готовить мне отва-

ры. Следить, чтобы я... — он запнулся, — чтобы я не забывал есть. И помогать с бумагами.

— С бумагами?

— Графство — это не только замок и деревня. Это налоги, прошения, судебные тяжбы. Десять лет я справлялся сам. Но теперь...

Он замолчал и посмотрел в окно. За мутным стеклом серело небо, и где-то там, в тумане, прятался лес. Лес, из которого по ночам доносились крики.

— Теперь я слишком устал, чтобы писать письма старосте, — закончил он. — А ты умеешь писать. И читать. И, судя по тому, как быстро ты разобрала мой рецепт, у тебя хороший почерк.

— Не хвалите, — пробормотала я, но внутри что-то тёплое разлилось. Мать учила меня грамоте по старым церковным книгам, и я всегда думала, что это бесполезный навык. Оказалось — нет.

Я взяла контракт и пробежала глазами.

Сумма, которую он предлагал, была бешеной. За месяц я получу столько, сколько у Стахия зарабатывала за полгода. За год — смогу купить дом. Не угол в чужой аптеке, не съёмную комнату — свой дом.

— Это слишком много, — сказала я.

— Это слишком мало для того, что я от тебя требую, — ответил он. — Ты будешь проводить здесь большую часть дня. Ты будешь видеть то, чего не должны видеть люди. Ты

будешь рисковать своей жизнью каждый раз, когда переступаешь порог моего замка. — Он помолчал. — Ты ещё не передумала?

— Нет.

— Тогда подписывай.

Я взяла перо. Обмакнула в чернила. И на мгновение замерла.

— А Стахий? Что он скажет?

— Стахий уже согласился. Я послал ему письмо утром. Он сказал: «Забирайте. Всё равно она не слушается».

Я усмехнулась. Это было похоже на правду.

Я подписала.

Первые дни в замке прошли как в тумане.

Я приходила к девяти утра, когда Дамиан уже сидел в кабинете — или в библиотеке, или в одной из бесчисленных комнат, которые я начала потихоньку исследовать. Он редко спал даже с моим отваром — три, максимум четыре часа, после которых просыпался разбитым и злым.

— Ты не спишь из-за кошмаров? — спросила я однажды, подавая ему очередную порцию настоя.

Он взял чашку — осторожно, кончиками пальцев, как будто боялся раздавить.

— Я не сплю, потому что боюсь проснуться драконом, — сказал он. — Во сне контроль слабеет. Я могу перекинуться. Могу сжечь замок. Могу...

Он поставил чашку, так и не отпив.

— Можешь что? — спросила я.

— Могу позвать их, — прошептал он. — Тех, кто меня ищет.

Я не стала спрашивать, кто такие «они». Я и так знала. Или догадывалась.

Первые дни мы почти не разговаривали. Он работал с бумагами — читал, подписывал, иногда что-то писал своим красивым, каллиграфическим почерком. Я сидела в углу кабинета — он приказал поставить для меня стол и кресло — и переписывала старые счета, прошения, жалобы. Почерк у старосты был ужасный. Я разбирала его с трудом, через раз.

— Ты морщишь нос, когда злишься, — сказал он однажды, не поднимая глаз.

Я подняла голову.

— Что?

— Я наблюдаю. — Он отложил перо и посмотрел на меня. Сегодня его глаза были тёмными, почти чёрными — золото пряталось глубоко, не показывалось. — Ты морщишь нос. И кусаешь губу. И теребишь левое ухо, когда думаешь.

— Вы за мной следите?

— Я дракон. Я слежу за всем, что движется. — Он сказал это так просто, как будто речь шла о погоде. — Это моя природа.

Я не знала, что ответить. Поэтому отвернулась и продолжила разбирать письмо, в котором мужик жаловался на соседа, укравшего его козу.

Но я чувствовала его взгляд на затылке. Тёплый. Тяжёлый.

Неопасный.

Пока что.

На пятый день моей работы в замке я осмелилась зайти в библиотеку одна.

Дамиан был занят — к нему пришёл какой-то посыльный из Города (редкое событие, все удивились, даже ворота открыли специально), и он сказал: «Побудь здесь. Не выходи из библиотеки». Я кивнула.

И осталась одна среди тысяч книг.

Я уже была в библиотеке раньше — но всегда с ним, всегда под его присмотром. Теперь же, когда я осталась одна, я почувствовала странное возбуждение. Как будто передо мной был спрятанный сад, в который я наконец получила ключ.

Я ходила между стеллажами, водя пальцами по корешкам. Кожа, пергамент, иногда — металл. Названия были на разных языках: на старом королевском, на наречии южных пустынь, на каком-то гортанном, с крючками и завитушками, который я не узнала.

Большинство книг я не могла прочитать.

Но одна — привлекла моё внимание.

Она стояла отдельно от других, в самом конце библиотеки, на низком столике под бархатным покрывалом. Покрывало было пыльным, как будто его не трогали годами. Но когда я сдула пыль, под ним оказался фолиант — огромный, в

тяжёлом переплёте из чёрного металла, с застёжками, похожими на когти.

На обложке не было названия. Только символ.

Расправленное крыло.

То самое. Которое я видела на амулете. На печати на конверте. На стене за креслом Дамиана.

Моё сердце забилося быстрее.

Я отстегнула застёжки. Они поддались с тихим щелчком, как будто ждали именно меня. Открыла тяжёлую крышку.

Первая страница была пустой. Вторая — с гравюрой. Я замерла.

На гравюре был изображён дракон.

Не тот сказочный змей, которого рисуют на гербах и церковных фресках. Реалистичный. Терзающий. С горящими глазами и расправленными крыльями, каждое перо — как лезвие. Из пасти вырывалось пламя, но в этом пламени не было разрушения — оно было... живым. Творящим.

Внизу была подпись на старом королевском. Я перевела с трудом, вспоминая уроки матери:

«Истинные дети пламени. Те, кто были до людей. Те, кто останутся после. Полное собрание свитков, запрещённое к распространению указом Церкви от 1223 года.»

1223 год. Это было почти триста лет назад.

Я перевернула страницу.

И начала читать.

Я читала, забыв о времени.

Фолиант был написан на нескольких языках, но большая часть — на старом королевском, который я знала достаточно хорошо. Я читала и чувствовала, как мир вокруг меня меняется.

«Драконы не рождаются людьми. Они рождаются драконами, но в детстве могут принимать человеческий облик. С возрастом связь с истинной формой слабеет — или крепнет, в зависимости от того, живёт дракон среди людей или среди себе подобных.»

«Сердце дракона — не мышца, не орган. Это камень. Камень, который может гореть тысячу лет, питаясь страстью, гневом или любовью. Любовь — самое сильное топливо. И самое опасное. Однажды зажжённое сердце не гаснет никогда. Даже если дракон умрёт, его сердце будет биться в одиночестве, ожидая своего человека.»

«Каждый дракон ищет своего человека. Того, чья душа созвучна его пламени. Найдя такого человека, дракон может разделить с ним свою силу — или проклясть его на вечную жизнь в огне. Церковь называет это „союзом с демоном“. Древние называли это „судьбой“.»

Я перелистнула ещё несколько страниц. Там были рисунки — анатомия дракона, строение чешуи, схемы превращения. Я смотрела на них, и перед глазами вставал Дамиан. Его бледная кожа. Золотые жилки. Вертикальные зрачки. Трещины на руке — чешуя, которая лезла, когда слабел контроль.

Он был драконом.

Я знала это. Но читать об этом из запрещённой книги, которую Церковь пыталась уничтожить триста лет назад — было по-другому. Это делало его реальным. Не легендой, не слухом. Кровью и плотью.

Я дочитала до главы под названием «Проклятие одиночества» и замерла.

«Дракон, лишённый своего человека, чахнет. Его чешуя твердеет, трескается, перестаёт блестеть. Его огонь гаснет. Он перестаёт нуждаться в еде и воде. Он спит, но не отдыхает. Он живёт, но не чувствует. Обычные люди называют это „одержимостью“ или „проклятием“. На самом деле дракон просто умирает. Медленно. Страшно. Иногда — веками.»

Я вспомнила его слова в кабинете.

«Моё тело будет гнить, рассыпаться в прах, но сердце будет биться ещё сотни лет.»

Я закрыла фолиант. Руки дрожали.

Нужно было вернуть всё на место — накрыть покрывалом, застегнуть застёжки, сделать вид, что я ничего не видела. Но я не могла. Потому что теперь, когда я знала, что с ним происходит, я не могла просто уйти, готовить отвары и переписывать письма.

Он умирал.

Он умирал здесь, в этом замке, один, среди книг и бумаг, и никто не мог ему помочь. Потому что его человек — тот, кто мог бы зажечь его сердце — либо умер, либо не родился,

либо потерялся где-то в мире.

Или сидел сейчас в библиотеке, сжимая в руках запрещённый фолиант, и не знал, что делать дальше.

— Ты нашла эту книгу.

Голос Дамиана прозвучал у меня за спиной. Я подскочила и чуть не уронила фолиант. Он стоял в дверях библиотеки — бледный, как полотно, но глаза его горели золотом.

— Я... — начала я.

— Не надо оправданий. — Он вошёл в комнату, и я заметила, что он хромает. Опирается на трость — чёрную, с серебряным набалдашником. — Я знал, что ты найдёшь эту книгу. Понимал, что рано или поздно — дашь волю любопытству.

— Вы не злитесь?

— Я устал злиться. — Он подошёл к столику, сел на край. Трость поставил рядом. — Что ты поняла?

Я облизала пересохшие губы.

— Что вы дракон. Что драконы ищут своего человека. Что без этого человека — умирают. — Я посмотрела ему прямо в глаза. — Это правда?

— Каждая буква, — сказал он. — Фолиант «Истинные дети пламени» — единственная правдивая книга о моём народе. Церковь сожгла все экземпляры, кроме трёх. Один — у короля. Один — у верховного жреца. И один — у меня.

— Зачем он вам?

— Чтобы не забыть, кем я был. Кем я мог быть. Кем я уже

никогда не стану.

Он сказал это так спокойно, так буднично, что у меня защемило в глазах.

— Вы не можете знать наверняка, — сказала я. — Ваш человек может быть жив. Может быть где-то рядом.

— Рядом? — Он усмехнулся, и в этой усмешке было столько горечи, что я почувствовала её на вкус — как полынь на языке. — Моему человеку было бы сейчас около двадцати лет. У него или неё были бы чёрные волосы и запах ландышей. И я встретил бы его или её десять лет назад, когда упал в этом лесу. Если бы это был кто-то другой.

Он замолчал.

Я поняла.

— Вы думаете, что ваш человек — та девочка? Я?

Он не ответил. Просто смотрел на меня своими золотыми глазами, и в них было столько боли, что я не выдержала, подошла и села рядом с ним на край столика.

— Дамиан, — сказала я в первый раз без титула. — Если я — ваш человек, почему вы не...

— Не что? Не попытался зажечь сердце? Не предложил разделить со мной проклятие, чтобы это проклятие сожрало и тебя? — Он отвернулся. — Я уже сказал: я опасен. Для тебя — особенно.

— Потому что я пахну ландышами, — повторила я его слова.

— Потому что ты — всё, что у меня было и никогда не

будет.

Он встал, взял трость и пошёл к выходу. На пороге остановился.

— Уходи, Лина. Сегодня вечером. Завтра можешь не приходить.

— Не приду, — сказала я.

Он не обернулся.

— Вот и правильно.

Он ушёл. А я осталась сидеть на краю столика, сжимая в руках запрещённый фолиант, и чувствовала, как амулет в кармане жётся — сильнее, чем когда-либо.

Я не ушла.

Я осталась в библиотеке. Спрятала фолиант обратно под покрывало, застегнула застёжки и сделала вид, что ничего не случилось. Но внутри меня всё кипело.

Я не знала, что делать. Я не знала, как спасти человека, который не хочет, чтобы его спасали. Я не знала, как подойти к дракону, который боится сам себя.

Поэтому я сделала то, что умела лучше всего. Я пошла на кухню и приготовила ужин.

Кухня в замке была огромной — с печью, в которой могли зажарить целого быка, с длинными столами, с медными кастрюлями, висящими на крюках. И совершенно пустой. Ни припасов, ни посуды, ни еды. Только пыль и тишина.

Я нашла кладовую — она оказалась за маленькой дверью у печи. Внутри было темно, холодно и пусто. Только несколь-

ко мешков с крупой, вяленое мясо (кто знает, когда его сюда положили) и старые, засохшие травы, которые, наверное, забыл Стахий, когда работал здесь — если работал.

Я сварила кашу. Простую, на воде, с щепоткой соли. И нашла в одном из шкафов глиняную тарелку и ложку.

Потом пошла искать Дамиана.

Он сидел в кабинете. В темноте. Даже лампу не зажёл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.